

ТАТЬЯНА ЧУРУС ШТАНЫ ИЗ ШАЛИ

ПОВЕСТЬ

Бабе Тане, папе Юре, маме Нине и сестре Марине

I

Ночь свалилась, словно снег на голову: вечер чуть зазевался — она тут как тут: пора, мол, на боковую. Глядь, а уж и землю укутала в свое тяжелое стеганое одеяло — та лишь сладко посапывает, свернувшись калачиком. И только звездочкам на небе не спится: вон как глазки свои любопытные выпучили, да сколько их — считать начнешь... сам и уснешь...

А мы всё сидим с мамой: до того разомлели после бани — шелохнуться нет сил.

Июль нынче такой... ну, густой, что ли, вот как мед или варенье. В воздухе висит жара, пахнет мятой и душицей: просто это земля вдруг превратилась в большую чашку с горячим чаем, от которой идет ароматный парок. Темно... Видно лишь, как блестят мамини глаза... будто бы звездочки спустились с неба на террасу и подглядывают за нами...

Мама тихонько поет... А я покачиваюсь на волнах ее голоса и сладко позевываю... Вот так бы сидеть вечно...

Но пролетит июль, за ним промелькнет август... и сентябрь... и в школу... и снова чуть свет вставать...

Я очнулась: жара — а у меня мурашки по коже... брр-рр-рр... И в ушах трр-рр-рр: не то школьный звонок, не то будильник трезвонит... Перед глазами заплесало железное ведро — а в том самом ведре ходуном ходил старый будильник, сотрясая своим ворчанием весь дом...

Это всё старшина Терентьев: его круглое лицо в пилотке набекрень спрыгнуло вдруг с папиной армейской фотокарточки и лихо подмигнуло мне левым глазом. Я на этой карточке всех наперечет знаю: и Лялина, и Хохрина, и Седова с Жидковым — их Сид и Жид прозвали, друзья не разлей вода, папа мне рассказывал. Он там тоже во втором ряду второй справа стоит, да нет, не этот — вот этот, высоченный, чернявый! А старшина Терентьев: мол, целую роту будил, Сиду с Жидом, и тех с коек поднимал! — нешто тебя не разбужу — как миленькая, встанешь, а не встанешь, посажу на губу. А губа у него не дура и усы пышные такие...

Старшина Терентьев весело улыбнулся и поставил выдавший виды походный будильник в железное ведро прямо у моего изголовья. И снова на фотокарточку — и место свое занял в первом ряду... Я глянула на маму, а она сидит как ни в чем не бывало в белой ночной рубашке и поет, поет...

Я медленно плыла по волнам ее тихого голоса...

И тут биологичка наша, Анна Васильевна, как выпорхнет из-за маминой спины... ну, вот словно мама — это не мама, а большая белая птица, и она, эта птица, взяла и махнула крылом. А Анна Васильевна выпорхнула и щебечет по-птичьи, да всё про пестики-тычинки, и клювом-указкой размахивает у меня перед самым носом...

А я сижу на губе у старшины Терентьева и от страха не разберу ничего... А Терентьев дунул в ус и говорит: а не надо было опаздывать на контрольную, отличница ты квадратная! Я опускаю виноватые глаза...

И вижу: не я это, а мама опустила глаза, но только мама еще девочка, ну, такая, какой я помню ее по классной фотокарточке: в школьной форме, в белом фартуке и бантики у нее белые (я, маленькая, думала, что это птички). А Анна Васильевна ей — а сама сделала бровки домиком: мол, без родителей в школу не являйся — а потом берет у

нее дневник и что-то пишет своим пером — вот прямо из крыла выдернула, перо-то, и пишет. А мама ей: Анна Васильевна, Анна Васильевна, ну за что? Меня ж теперь ученики слушаться не будут! Она у меня учительница русского и литературы, так-то. Даже я ее Татьяна Николаевна зову. Смешно, правда?

А старшина Терентьев: смотри, смотри, Татьяна Николаевна сгорает со стыда! И давай изо всех сил дуть... Я чуть с губы не слетела — хорошо, успела за ус ухватиться! — и очнулась...

Мама пела, пела... а потом вдруг смолкла, глянула на меня.

— Намаялась, поди? Весь день на солнцепеке... Ты ложись, а я посижу еще: что-то сон нейдет...

Я помотала головой.

— Спой еще...

Когда я была маленькая, она часто пела мне... Голос у нее, знаете, какой, — не знаете! Мягкий-премягкий: вот так бы закуталась в него, ну вот точно в пуховое облачко — и покачивалась бы, покачивалась бы на его волнах! Ей в опере, на сцене, выступать — а не в классе на уроке!

Мама кивнула — да как запоем в опере: «Старшина Терентьев, к доске, шагом арш!» А Терентьев выходит из зрительного зала прямо на сцену, к доске — и давай петь: «Татьяна, милая Татьяна... Николаевна!» А мама: «Отставить! Отвечайте по уставу. Объясните нам правила обращения к старшему по званию». А Терентьев: «Я дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог» — и прикладывает руку к сердцу. Тем временем мой папа вырывается на сцену из-за красных портьер. А Терентьев: «Любви все звания покорны». Смерив старшину Терентьева взглядом, папа бросает ему перчатку... Я гляжу, а это и не перчатка вовсе, а мои пуховые варежки, на резинке, ну, это чтобы не потерять... Мама вязала: она у меня мастерица!

Папа!!! И я проснулась от радости...

— Папа приехал?

Мама приложила пальчик к губам: тш-ш-ш, всю округу разбудишь...

— А когда папа приедет?

Мама развела руками...

— Иди спать... А хочешь, я постелю тебе здесь, на террасе?

Я изо всех сил замотала головой: я хотела сидеть с мамой, совсем как взрослая!

Мама больше не пела... Я знала, что она думает о папе...

А папа... А у папы служба...

Разочек к нам только и вырвался — а мы уж почти весь июль за городом живем, — зато сколько вкуснятины привез (а мне еще и книжек, как я просила, — ох и начитаюсь теперь всласть)! Мама, ясное дело, давай ругать его: ну что ты, мол, тащишь на горбу, что мы, мол, на краю света, что ли, что мы, мол, в магазин сами не сходим? Ей (это мне) и так, мол, все платья малы стали, растет, мол, не по дням, а по часам, а ты, мол, везешь ей конфеты да баранки!

Старшина Терентьев лихо подкрутил ус — а он, ус-то, и давай расти... да не по дням, а по часам! Вот прямо по старому походному будильнику вьется, ну, усище-то, да стрелки опутал, будь здоров! Будильник и заворчал по-стариковски: ох, мол, и навязался же на мою голову, по рукам-ногам оплел, ходу не дает! — и сучит своими стрелками-ножонками!

Мама положила мне руку на лоб: не горячий ли? Старшина Терентьев как ни в чем не бывало улыбнулся с фотокарточки: ус как ус и пилотка на месте. Стрелки старого походного будильника привычно маршировали по циферблату: ать-два, ать-два... А мамин голос летел им вслед... Конфетки-бараночки, словно лебеди, саночки...

Я улыбнулась: что-что, а конфеты с баранками я страсть как люблю! Это у меня от папы — а у него от старшины Терентьева, от кого ж еще-то! Папа говорит, что он, старшина, на спор за один присест мог съесть целых пять кило баранок и пять кило конфет! Да, губа у него не дура, у Терентьева: знаю, сидела... ну, на губе...

Старшина Терентьев выпятил нижнюю губу, накинуд на шею вязанку баранок, будто это и не баранки вовсе, а большие деревянные бусы, схватил копые — и давай ногами кренделя выделывать: дикарь дикарем! Вот ногами-то кренделя выделяет, а сам маме и подпевает тенорком: конфетки, мол, бараночки... А потом как свистнет во весь свой пышный ус: полундра! А Анна Васильевна тут как тут: отставить! К доске шагом арш! Да бровки этак сделала домиком, головой покачивает: э-эх, и как не стыдно, а еще старшина! Какой пример Вы подаете подрастающему поколению! А старшина Терентьев стоит у доски, ус виноватый в дырку от баранки опустил: мол, я учил...

Хорошо, у меня всегда книжка под рукой. Надо спасать товарища... ну, товарища старшину. Я давай подсказывать — а сама в книжку подглядываю: мол, у капитана на погоне четыре звездочки, а у майора одна, зато в центре эполета, у подполковника... А Анна Васильевна: мол, отставить звездочки — только пестики и тычинки! Книжку у меня из рук выхватила и читает вслух: «Как определить звание по погонам». Папа привез, его работа. Он и маме сказал: моя, мол, дочь должна быть всесторонне подкована! — попробуй поспорь! Гляжу, старшина Терентьев одну руку приложил к пилотке, а в другой молоток держит: есть всесторонне подковать!

Читать-то я научилась еще в «ползунковом возрасте» — так мама говорит. Вот раз, говорит, захожу в комнату: на полу ворох газет, а она (это я) ползает и что-то бормочет... А я, маленькая, погремушек не признавала — газеты мне подавай!

Помню, папа возьмет этак в руки свежий, хрустящий, вот как корочка хлеба, номер «Красной звезды — я вмиг притихну, а буквы так и мелькают перед глазами, так и мелькают: я тогда думала, что это маленькие мушки у папы перед носом роятся, и пляшут, и пляшут, и хороводы водят! Ну мушки, ну выделяют! А папа в мушку ткнет этак пальцем: это, мол, буква «а», это «о». Ох и странные имена у мушек — и я покатывалась со смеху! А сама за папой повторяю: а, о, у ... До того мне игра эта нравилась! Ну, хороводы разгадывать мушкины! И старшина Терентьев округлил рот баранкой: а, о, у...

А раз помню, ползаю, ползаю... а перед глазами буквы, буквы, а потом что такое? Я глаза-то закрыла — открываю, а они, буквы, выстроились да и стоят такими стройными рядами, ну, шеренгами... «Красная звезда», «Центральный орган Министерства...», да такие все важные, взрослые слова... будто кто им, ну, буквам-то, команду отдал «Стройся! Равняйся! Смирно!». Старшина Терентьев лихо подкрутил свой ус и сдвинул пилотку набекрень.

Ну, а тут и мама входит с кашей манной. Я облизнулась (уж больно каша вкусно пахнет!) и спрашиваю: а что такое «центральнй олган»? Мама только рот и открыла: смотрю, говорит, а она (ну, это я) Юрину «Красную звезду» читает.

С тех пор про мушки и про то, как они хороводы водили, я и позабыла совсем, а книжки просто глотаю, ну, как конфетки-бараночки... Вот книжку возьму: одной рукой страницы листаю, а другая сама в кулек с конфетами да баранками тянется. Красота!

А папа: ешь, мол, дочка, пока отец живой. Ему так его мама говорила, баб Нина: ешь, мол, сынок, пока мать живая, времена-то, мол, тощие. Папа рассказывал, уж очень они бедно жили, когда он был маленький, — а потом баб Нина умерла. Я ее и знаю-то только по фотокарточкам: вот она в строгом простеньком платье, вот в шляпке, вот в беретке. А вот папа маленький рядом. Бедненький, он тогда остался один... Совсем тощие наступили времена...

Спасибо, тетя Тася, баб Нинина сестра, приютила его, а у нее у самой трое пацанов: трое ртов, как она говорила. Да у нас и карточка есть: тетя Тася с мальчишками Колькой,

Вовкой и Сашкой — белобрысые такие, будто кто по крынке молока каждому на голову опрокинул, конопатые, коренастые, большеротые — и папа сбоку припека: долговязый, чернявый и с синяком под глазом. Ясное дело, там за каждый кусок дрались не на жизнь, а на смерть, но папа спуску никому не давал: не на того напали... И маленький долговязый папа заехал белобрысому Кольке прямо в челюсть, выхватил у него баранку и похрустывает себе. Старшина Терентьев облизнулся во весь свой пышный ус.

Я и видала-то дядюшек моих раз всего, когда папину звездочку обмывали — белобрысые, конопатые, большеротые! Подарков нам с Катькой море навезли. А дядь Саша — самый конопатый — всё с мамы глаз не сводил: эх, Юрок, мол, какую ты звездочку достал, с неба небось! Славно погуляли! И старшина Терентьев сдвинул пилотку набекрень.

С тех самых тощих времен папа и считает, что запас еды в доме нужен всегда, мало ли что! Вот и в этот раз мама на папу и глянуть не успела, а он ей: ничего, мол, это про запас... Сказал, как ломоть хлеба отрезал: ни единой крошки! Папа у меня такой! А всё служба.

Мама даже как-то выдала ему: да ты женат, мол, на своей службе. Они тогда в гости собрались к Лепшеевым, а мама платье новое хотела надеть, такое красное, с вырезом, и прическу сделала, и ногти лаком красным накрашила: я, маленькая когда была, думала, что красные мамины ноготки — это лепестки роз, и всё клянчила: мам, ну дай хоть один лепесток оборвать, ну чего тебе стоит? Куда там!

Мама у меня такая: папа целый год ее упрашивал, чтобы замуж за него пошла... А свидетелем на свадьбе, знаете, кто был? Ну догадайтесь! Старшина Терентьев — кто ж еще! У нас и карточка есть, цветная: веселое лицо, пышные усы — только вот на погонах одна звездочка, майорская. Но для нас с папой он вечный старшина: язык не поворачивается назвать Терентьева майором... майор Терентьев... бр-рр, абракадабра...

Ну, в общем, только мама платье стала надевать, красное, с вырезом, — давай телефон трезвонить: тревога! Папа, понятное дело, надел форму, схватил свой чемоданчик и пулей за дверь. (Мы с Катькой однажды тайком открыли чемоданчик тот — ничего особенного: белье, кальсоны, банки консервные — а мы-то думали...) Мама, как сейчас помню, долго сидела в коридоре у зеркала и поглаживала красное платье: оно, словно кошка, лежало у нее на коленях...

А Лепшеевых этих, если честно, я терпеть не могу! Теть Наташа вечно меня попрекает лишним куском: мол, девочка должна следить за фигурой — и губки делает рыбкой, да и сама-то на кильку в томатном соусе похожа, а дядь Саша спрашивает своим гундосым голосом: что тяжелее, килограмм ваты или килограмм картошки? — и покатывается со смеху, вытирая платком пот с лысины.

Это из-за них мама сказала папе: мол, на службе ты женат, а не на мне. Ну, как если бы служба была не служба, а Служба Ивановна или Петровна... Старшина Терентьев погрозил мне пальцем...

А папа долго так молчал: дышал только — а потом: я офицер, Таня, офицер... И больше ни слова. Мы с Катькой, помню, замерли: только бы не поссорились, только бы не поссорились! Мама заплакала: прости, Юра... Ну, и мы с Катькой давай рыдать, еле успокоились.

Слава Богу, у папы в августе отпуск: они с мамой на море поедут... Ну, это еще бабушка надвое сказала, шутит папа: его могут хоть из отпуска вызвать, хоть со дна морского достать — служба!

Хорошо, что моя бабушка надвое не говорит. Я зову ее просто Вера: крохотная, шустрая — девчонка, а не бабушка! Она вот-вот придет — пирогов напечет, блинов, оладушек! Вкуснятина! Бедная мама лишь за голову хватается: одежды на нее (это на меня!) не напасешься — растет не по дням, а по часам. Катьку уже перегнала! Старшую

сестру! Так она еще маленькая была, всё твердила: вот вырасту, мол, сварю себе один пельмень и наемся! С тех пор вечно на диете и сидит. Подумаешь, мне больше достанется! И старшина Терентьев засунул в рот большущий, похожий на лапоть, пельмень, только масло по усу и потекло.

Мама у меня и сама как куколка. Один офицер, сослуживец папин: и до чего ж Вы, говорит, Танечка, изящная, даже не верится, что Вы мама двух дочек. А мне, думаете, верится: она и на карточках среди учеников своих, ну вот будто и не учительница, а ученица. Я там всех знаю: и Брыськина, и Тюняева, и Кривоносова — известные двоечники. Только и умеют кровь из мамы пить.

Брыськин с Тюняевым и Кривоносовым, словно по команде, налетели на маму и давай пищать, но старшина Терентьев тут как тут: отставить, разговорчики в строю! А там ладонь-то что лопата: прихлопнет — не встанешь. А Брыськин с Тюняевым и Кривоносовым: ну товарищ старшина, ну мы больше не будем! А старшина: ну, баранки гну! Разломил баранку — да в рот, да крошечки с пышного уса и смел. У меня аж слюнки потекли...

В кого я такая? В кого — папина порода. Он у меня под два метра! Вот помню, раз глядела я на него, глядела, любовалась-любовалась, — года три мне было, — да и выдала: хочу, мол, вырасти, как папа!..

Да уж, вымахала я, ничего не скажешь: Каланча Ивановна — что-то будет в сентябре! Я еще подстричься хочу коротко-коротко. Мама вздыхает: ты же девочка, посмотри, мол, на Катю.

Смотрю, куда денешься: красивая... не то что я... Ну и пусть, зато я папина дочка. А Катька... ну, у нее другой папа... правда, он погиб, при исполнении: служба. Она уж почти забыла его, вот только как он руку к козырьку прикладывал — это он честь отдавал — помнит. У нас и портрет его в комнате висит.

А мама, когда с папой — ну, этим, моим папой — познакомилась, так прямо и взмолилась: и за что это мне, мол, наказание Господне? Что, мол, и мужчин на всем белом свете нет, кроме военных! Ну, а потом, ясное дело... Старшина Терентьев выпятил грудь, звякнул медалями.

А и познакомились-то, смешно сказать: кот у мамы с Катькой был, Рыжик. Там такая наглая рыжая морда! Да у нас и карточка есть, можете посмотреть. Старшина Терентьев лихо подкрутил пушистый ус. Там такой пакостник! Старшина сдвинул пилотку набекрень. С чердака к ним в квартиру спустился: здарсьте пожалуйста — ну, это когда уже Каткин папа погиб... Выкормили на свою голову: все стены изодрал, все шторы — живого места не осталось!

А тут пропал. И день нет, и два, и три. Затосковала мама, и Катька затосковала. Уж и по подвалам-чердакам рыскали: в каждую щель заглянули — нет как нет. Что делать? Расклеили объявления: мол, пропал кот, рыжий, полосатый, толстый, задиристый, отзывается на кличку Рыжик, нашедшему вознаграждение. А сами ревут в голос: и шторы-то изодрал, и диванчик детский, и обои — а без него дом пустой.

Мама говорит, первое время, что пропал, Рыжик-то, всё ступала осторожно по полу, всё боялась наступить на него: любил он развалиться да понежиться где ни попадя. В общем, объявления расклеили — ждут. И день ждут, и два: ни ответа ни привета.

А тут звонок: кот, мол, ваш рыжий-конопатый у меня. Приходите, мол. Мужской голос такой приятный. Ну, мама да Катька сорвались с места — и бежать. И что вы думаете? Кто звонил-то? Ну, конечно, мой папа. Правда, он тогда не был еще моим папой, да и меня еще в помине не было. Но дверь маме с Катькой открыл именно он. Открыл, говорит, и замер, а сам, говорит, и думаю: какое бы вознаграждение попросить, а? И старшина Терентьев лихо подкрутил свой ус.

А Рыжик выходит навстречу: бок весь ободранный, шерсть клоками, глаз заплыл... Мама в крик. А папа ей: мол, сцепился с собакой во дворе, еле, мол, и разняли. Мама в слезы, ну, и Катька ревет в три ручья: да бедный ты наш, да страдалец ты наш! А папа: ну, мол, кто пострадал, так это собака — и смеется: лихой, мол, он у вас. Старшина Терентьев сдвинул пилотку набекрень.

Ну, мама Рыжика на руки — а там добрых десять кило: спасибо, мол, не знаю, как Вас и благодарить, просите, мол, чего хотите. А папа: а я, говорит, хотел попросить, ну, чтобы мама поцеловала меня, да постеснялся. Старшина Терентьев сдвинул пилотку на самые глаза. Мама-то ему — ну, папе, конечно, не Терентьеву же! — ох как понравилась: одно слово, пропал папа! Что делать? И старшина Терентьев подмигнул: мол, пехота гибнет, но не сдается! Взял тогда папа Рыжика за шкурку и доставил по месту назначения, так сказать. И старшина Терентьев приложил руку к пилотке.

Только Рыжик снова куда-то пропал: как в воду канул. Натура уж у него такая, рыжая...

А вознаграждения папа целый год ждал, пока мама не согласилась пойти за него. И старшина Терентьев лихо подкрутил свой пышный ус: мол, награда нашла героя.

Да за такого кто хочешь пойдет. Даже Аська Кузнецова, Кузя, ну, из нашего класса — к ней все мальчишки пристают, не то что ко мне... Ее Женька Мохов вечно из трубочки обстреливает. Мы его Хомом зовем, ну, потому что у него за щеками всегда бумага жеваная. А Аська строит из себя: надоел, мол. А я сама видела, честно-пречестно, как они из школы вместе шли... Старшина Терентьев прищурил левый глаз, взял Кузю на мушку: цельсь! Пли! В яблочко! И сдвинул пилотку набекрень.

Так вот она, Аська, про моего папу, знаете, что сказала? Повезло тебе, мол, говорит, папа у тебя умереть и не встать.

Еще бы! На нем форма как влитая сидит. И звездочки на погонах, и ремень, и сапоги! И медалей у него куча всяких. И даже пистолет есть, не верите? И противогаз!

Помню, я как-то Веру до смерти напугала: напаялила папин противогаз, шапку песцовую на голову нацепила, воротник у меня мохнатый. Звоню в дверь. А Вера дверь-то отворила, да сослепу как закричит: «Спасите!» И давай руками махать...

Вот Вера машет-машет, машет-машет, мама тихонько поет — меня и накрыло сладкой волной сна: чую, тону! Отчаянно барахтаюсь, дышу через хобот... ну, трубку эту, противогазью... Помогите!.. А мамин голос плавает где-то на поверхности... Что это, спасательный круг? Нет, баранка... Помогите! И тут мой верный старшина Терентьев, тоже в противогазе, хватает меня за хобот и тащит, тащит... А Анна Васильевна сделала бровки домиком: и как не стыдно бабушку пугать! Вот Иван Михайлович Сеченов — в классе у нас портрет его висит, седовласый такой старичок, — никогда не пугал бабушек противогазом — и каким человеком стал! И тычет мне в лицо своей указкой-хоботом.

А хобот этот противный полез кусаться. Я очнулась: комар! Прихлопнула бы его, да сил совсем нет: намаялись мы с мамой за день: ягод море набрали — зато теперь варенье всю зиму есть будем...

Приторное тепло разлилось по моему телу, рот расплылся в блаженной улыбке — а улыбка перетекла в зевок... Клубничная волна подхватила меня, унесла на самое дно...

А там, на дне, ягод видимо-невидимо! И мы с мамой собираем их, собираем, а они растут, растут, да не по дням, а по часам... И солнце печет безжалостно... ну откуда на дне солнце? Так ночь на дворе — оно и скатилось с неба в самую глубину: прохлаждается...

Вот собираем. Глядь, а рядом пристроилась Анна Васильевна с указкой (она на нее ягоды нанизывает), а чуть поодаль старшина Терентьев с железным ведром, а в ведре будильник: рыб, что ли, будить собрался?

А клубника уродилась: каждая ягода — ну вот с мою ладонь... да что с мою — с папину! Да что с папину — ладонь старшины Терентьева, и то меньше, а ладонь-то как

лопата! А до чего сладкая, ну, ягода: сама в рот и просится! Старшина только облизывается, только ус свой поглаживает да лопатой своей орудует.

Одного не пойму: мы все собираем красную клубнику: и я, и мама, и Анна Васильевна, а он — серую. Эх ты, отличница ты квадратная! Это он мне, старшина. Я ж, мол, с черно-белой карточки — потому и ягода у меня серая... Вот интересно, а на вкус она тоже... серая?..

А Анна Васильевна бровки эдак сделала домиком. Ну, думаю, начнет сейчас: мол, и где это такое видано, чтобы в природе росла серая ягода, мол, учишь их учишь! А она: на вкус и цвет товарищей нет, правда, товарищ старшина? Так точно! Это Терентьев Анне Васильевне. И руку свою черно-белую к пилотке прикладывает.

А потом: смирно! На первый, второй, третий, четвертый рассчитайсь! И мы по команде Терентьева начинаем перебирать ягоду да по разным площадкам ее раскладывать: эту на варенье, эту на сок, эту на еду, ну, а эта... вот вымуштровал, в рот ему прыг!

Слюнка вытекла из моего полуоткрытого рта, в животе заурчало...

Мамин голос поплыл медленно, едва касаясь моего слуха — и вдруг волны закачались: откуда ни возмись мотоцикл — ворвался прямо в мамину песню, сожрав ее своим ревом, а потом скрылся за поворотом в клубах чавкающей пыли... Я вздрогнула...

Недавно вот так же из клубов пыли явилась Катька с соседским парнем Валеркой. Совсем взрослая, студентка, учительницей будет... Анна Васильевна тут как тут: посмотри, мол, на Катю, есть, мол, с кого пример брать!

Эх, Катька-Катька: ни к чему мы тебе теперь, свои у тебя дела... Это раньше, бывало, месяцами за городом жили... И мы с Катькой пустились наперегонки: кто первый нырнет в речку! А ноги вязнут в песке, а солнце слепит глаза! И Катькина головка в белой панамке маячит впереди...

Слеза повисла у меня на реснице, словно шишка на еловой лапе, а потом прыг — и покатила по щеке, измазанной клубничным соком, прочерчивая белую дорожку... Катька, Катька... А помнишь... Мамин голос приятно защекотал мое ухо...

Катька улыбнулась, села на заднее сиденье мотоцикла, надела шлем, обхватила за пояс Валерку... Только смотрю, не Валерка это, а старшина Терентьев. Он лихо подкрутил ус, подмигнул мне, сдвинул пилотку набекрень и нажал на газ. Все маме расскажу... Меня вот так никто не катал...

Но сон навесил пудовый замок на мой язык: совсем не шевелится... Везет же некоторым... Ну да ладно, подумаешь, черно-белый старшина с фотокарточки... А Валерка? А Валерка мне и не нравится вовсе. Вечно таскает Катьке конфеты «Помадка» — а они тают, тают на жару... Катька тут как тут: а ты не ешь! Больно надо... Да еще маме моей руку поцеловал, представляете? Она его настоящим кавалером назвала... Тоже мне, Валерка-кавалерка... А Катька: завидуй, завидуй! А сама подает руку старшине, и он целует ее своими серыми губами.

А Леха? Он когда на Катьку пялится, краснеет. И вообще он жадный какой-то: ничего не привозит — а за столом ест за троих (я слышала, так соседская тетка сказала, тетя Зина: ишь ты, говорит, какой зять у вас прожорливый! — много она знает: зять!).

А Витька...

Да, совсем взрослая наша Катька... Не до меня ей. Вот было времечко...

Я поплыла в лодочке сна. А рядом Катька: такая красивая... и волосы у нее... как волны... И мы смеемся, смеемся. И альбом с отражениями фотокарточек старых разглядываем прямо в воде: мне — то, что с левой стороны, Катьке — то, что с правой...

И Терентьев ей прямо с карточки подмигнул, а потом за руку хватить: я и ахнуть не успела — Катька уж на берег вышла. А он ей: вышла, мол, на берег Катюша, — и ведет ее к столу. А там, за столом, и Валерка, и Леха, и Витька сидят, на еду только облизываются. А

старшина давай уплетать за обе, нет, за три щеки... за троих ест: за Валерку, за Леху, за Витьку — да всё баранки с конфетами...

Я поперхнулась — и вынырнула из сна...

Ночь на дворе и тишина: только и слышно, как кузнечики стрекочут — у нас кузнечиков тьма! А мама волосы медленно причесывает после бани: локон за локоном, локон за локоном. И щетка для волос у нее мягкая-премягкая! И сама, мама-то, разругалась, и рубашка на ней белая, с розовыми оборочками, а по краю выреза цветочки атласные: красотища!

Вот причесывает, причесывает свои смоляные волосы (а волосы и впрямь будто кто в смолу обмакнул — да жесткие, непослушные!), а потом голову склонила, призадумалась и говорит:

— Знаешь, чего бы я хотела больше всего в жизни?

Ну, я и спрашиваю: чего, мол, ты бы хотела больше всего в жизни? А сама зеваю во весь рот: сон опутывает паутиной.

А она:

— Нет, так не считово! — Прямо как девчонка!

Я засмеялась — сон рукой и сняло.

Мама тоже засмеялась и смотрит на меня хитро-хитро, с прищуром.

А глаза у нее... ну вот как смородинки черные, что на солнышке эдак поблескивают своими бочками налитыми, да в рот и просятся. Только смородинки — они маленькие, а у мамы глаза огромные: ее в школе даже «Глазанчиком» прозвали — сама говорила. А когда говорила, задорно хохотала, вот будто ее защекотали, ей-богу!

А прозвище это мальчишка один придумал, который в маму был влюблен, Димка Гагин: понятное дело, его Гусем прозвали, как же еще-то. Я вообще весь мамин класс по фотокарточке знаю: такая черно-белая — и головки, головки — а снизу подпись, кто есть кто: под маминой головкой подписано «Таня Чудинова».

Фамилия что надо: от слова «чудо»! Или нет, не «чудо» — «чудить»! Чудинова — значит, та, которая чудит! Здорово, правда? Не то что Рязанова (это папа у меня Рязанов — так мама, когда замуж за него вышла, тоже стала Рязановой — и мы с Катькой Рязановы).

Интересно, какое мне прозвище дадут? Недавно я в этом классе — не успели еще придумать. В школу-то я в другом городе пошла, на севере: ясное дело, служба! И вот, гляди ж ты, вернулись в родные пенаты, прямо к Вере под бок!

А маму могли бы прозвать еще, ну, «Чудачкой» там, или «Чудушком», или «Чудинкой» какой-нибудь, на худой конец. А еще... Да, ее хоть как назови — все равно она самая красивая девочка в классе, не то что я...

Меня и ждать-то никто не ждал — мальчишка должен был родиться. Старшина Терентьев лихо подкрутил свой пышный ус: мол, будущий защитник Родины! Мама с папой даже имя придумали: Миша. Врач из папиной санчасти, Виталий Николаевич, так маме и сказал: мол, пацан родится, голову на отсечение даю, мол, поздравляю, Танюша. У нас и снимок черно-белый есть: там малыш с большой головой будто лежит на дне моря, а рядом проплывают маленькие белые рыбки...

Мама рассказывала, вот животик поглаживаю, а сама и приговариваю: мол, Мишенька, сыночек. И всё песенки пела... А папа со службы придет: ну как, мол, Мишка, хорошо себя вел, не лупил, мол, тебя? Мама говорит, уж больно я резво брыкалась, когда в животике жила.

Папе на службе и коляску подарили, синюю такую, и кучу всяких машинок. А на свет появилась я... Старшина Терентьев сдвинул пилотку набекрень. Маша тоже хорошо, сказал папа. В тот же день пошел и купил другую коляску, розовую. Катька ликовала: уж

очень она ждала сестренку. Только вот папа редко Машей меня зовет — все больше Малышом: хорош Малыш, нечего сказать...

А Виталий Николаевич, помню, придем с мамой в санчасть, всё меня осматривал, да всё в рот заглядывал: мол, скажи а-а-а, будто я там мальчишку под языком прячу, — да всё покашливал и руку в свою пышную шевелюру запуская: мол, ошибочка вышла... И старшина Терентьев почесал голову.

А родилась я, смешно сказать, с таким большим черным клоком на макушке. Ну, мама меня Запорожским казаком и прозвала. То-то я лихим казаком и росла и в ус не дула до поры до времени.

А тут в садике утренник, мой первый утренник! Наша воспитательница Елена Аркадьевна сдвинула очки на самый нос и давай по бумажке читать: дорогие ребята и их родители, — а мама с папой в сторонке эдак сидят, ну, и старшина Терентьев с ними, куда без него (это Анны Васильевны тогда еще в помине не было!). А Елена Аркадьевна: мол, так и так, у нас скоро праздник, мы ставим сказку. Ура, закричали «дорогие ребята» (и старшина Терентьев, я сама видела!)! Елена Аркадьевна прокашлялась и дальше читает: вам нужно выучить стихи — я раздам — и приготовить костюмы, а роли я, мол, уже сама распределила. Ну, я замерла: жду, какая мне роль достанется. А Елена Аркадьевна: снежинки... И пошла перечислять, а у меня только в висках стучит: Тонких Алёна, Доля Лариса, Шумская Олеся... Звездочки — Поночевная Оля, Белкина Даша, Суетина Алиса... Я зажмурилась, а Елена Аркадьевна: зайчики — Селезнев Никита, Волокитин Егор, Шива Боря... Старшина Терентьев хмыкнул и отвернулся. Елена Аркадьевна не обратила на него никакого внимания: фея... У меня оставалась последняя надежда... Фея — Елена Аркадьевна.

Я робко посмотрела на маму, на папу: а как же я? Меня-то нет ни в одном списке! Папа встал, оправил ремень. Старшина Терентьев лихо подкрутил свой ус: мол, артиллерия не сдастся! А Елена Аркадьевна: ой, мол, а про Машу-то я забыла... Мол, и ролей больше нет... И на меня из-под очков своих поглядывает: а ты приходи просто так, Маша. А Тонких с Суетиной — тоже мне, снежинка со звездочкой выискались! — шушукаются и на меня пальцем показывают. Папа затянул ремень потуже. А Елена Аркадьевна: ну есть, правда, одна роль, но она без слов. Старшина Терентьев засунул свой любопытный ус в листки Елены Аркадьевны. А она: мол, паж Феи... И смотрит на меня поверх очков. Тонких с Суетиной только и прыснули со смеху. А Елена Аркадьевна: мол, там и делов-то всего... шлейф за феей носить... Папа, что есть сил, стянул ремень на талии — и как только не лопнул... и папа, и ремень: крепостное право, Елена Аркадьевна, отменили еще в девятнадцатом веке. И мне: пойдем, мол, дочка.

На следующий день в садик прихожу, а на моей кабинке кто-то нацарапал: «Паш»... Ясное дело, кто: писать-то только я да Тонких умели... И прицепился этот противный «Паш» ко мне, будто собачонка на поводке. И тявкает, и тявкает, никуда от него не скроешься.

А вечером слышу, мама по телефону разговаривает: ну дайте Вы ей роль снежинки или звездочки, одной больше, другой меньше! А противный Паш тявкает, дрыгает своими тонкими ножонками, как с цепи сорвался, и глазки у него такие малюсенькие, на бусинки похожи...

Смилостивилась Елена Аркадьевна: будет Маша Рязанова звездочкой!

Мама мне такое платье красивое сшила! И стихотворение я уже выучила, длинное-предлинное. Да только вдруг заболела...

Выздоровела — а шейка торчит пестиком (это мама сказала, знала бы она про Анну Васильевну!), глазки ввалились... Я глянула на себя в зеркало... а рядом Катька, в новеньком платьице, волосики вьются. Старшина Терентьев сдвинул пилотку набекрень, почесал макушку.

— Мам, а я красивая?

Мама прижала меня к себе: для матери, мол, ты самая красивая, звездочка ты моя... Паш потявкал, потявкал — и в подворотню. А старшина Терентьев как свистнет во весь свой пышный ус: полундра! — Паш еле ножонки и унес.

А я уткнулась, помню, в мамин живот — и тепло ее дыхания приятно так растекалось по моему телу, кап-кап, кап-кап, вот словно молочко, и в животе журчало-урчало: самая красивая, самая красивая...

Я засмеялась, посмотрела на маму, а она причесывает свои смоляные волосы — да ночь на дворе: их и не видать совсем... Только звездочек видимо-невидимо...

Глазанчик ты мой родной, Чудинка, в такую любой дурак влюбится...

Димка-то Гагин, или Гусь, делал вид, что ему все равно, а мама то конфетку в парте найдет, то календарик, то наклейку, то цветочек. А как-то в подъезде, где она жила, кто-то нацарапал на стене: «Таня + Дима = любовь». Мне вот такого никто не писал...

А Димка этот ничего, симпатичный: кудрявый, глаза умные. Ну, сейчас-то он уже, поди, Дмитрий Иванович или Дмитрий Петрович. Облысел, небось, брюшко отрастил, кто его знает! Дмитрий Иванович Гагин вытер лысину платком: вот, мол, до чего любовь к Глазанчику довела! И старшина Терентьев лихо подкрутил свой пышный ус.

А мама волосы смоляные в плюшечку забрала — я так сроду не умею — голову склонила и смотрит на меня смородинным глазом.

— А вот спроси ты меня, чего бы я больше всего хотела в жизни. Ну вот больше всего?

Да головой тряхнула: шпилька из плюшечки и выскочила — тяжелые волосы с шумом упали на ее плечи...

— Ну, не знаю...

А сама люблюсь мамой...

— Ну а ты-то чего хочешь? Вот сильно-сильно?

Книжечка стихов запрыгала перед моими глазами. А на обложке, знаете, что написано? «Стихи Марии Рязановой»... Это Катька для меня сделала, на мои именины, давным-давно, я еще маленькая была. Каждое стихотворение от руки разными фломастерами вписала в листочки с картинками — и картинки нарисовала, такие красивые, — а потом скрепила листочки спиралькой. Настоящая книжка... Там мои детские стихи...

Одно «Скворец» называется. Вот послушайте:

Мне давно знаком скворец.

Звать его Потапка.

Всем известный он птенец:

Шея тонка, гладка.

А как вылез из яйца,

Был похож он на отца.

Был Потапка наш шалун,

А теперь взялся за ум:

Умный стал парнишка,

Тихий, словно мышка.

Познакомился вчера

С кошкою Малышкою.

Все сказали: «Ой-ой-ой,

Как нам быть с парнишкою?»

Проглотила удальца

Кошечка Малышка.

Катька такого скворца нарисовала — ну копия я! И кудряшки на голове!